

АЛЕКСАНДР
ПИСАРЕВ



Александр Александрович Писарев (р. 1988) – редактор, переводчик, преподаватель, младший научный сотрудник сектора социальной философии Института философии РАН.

Обзор российских интеллектуальных журналов

Продолжающаяся – несмотря на все направленные против нее усилия и меры – пандемия заново подсвечивает слабые места коллективных представлений о мире и времени, а усугубляющиеся во многих сферах кризисы ставят вопрос о том, что придет после неминуемого демонтажа или мутации нынешних порядков. На этом фоне интеллектуальные журналы логично обращаются к разнообразным критическим дискурсам, которые способны помочь сориентироваться среди перестающих работать структур и выбивающих из колеи событий. В центре внимания сразу двух изданий оказалась критика эссенциализации и натурализации исторических категорий. Если в «Логосе» обсуждается ситуационная сконструированность границы между прошлым и будущим и отказ от самотождественности

**ОБЗОР
ЖУРНАЛОВ**

305

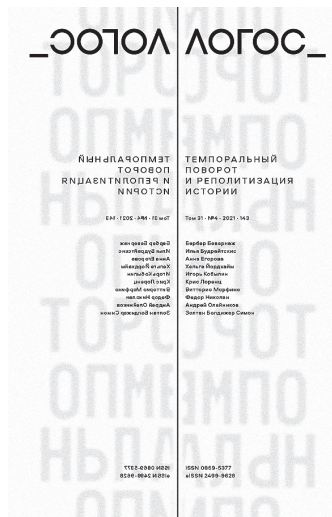
настоящего в пользу темпоральной множественности, то авторы «Ab Imperio» исследуют историю и контексты управления разнообразием при помощи расоизации как эссенциализации антропологических различий. «Художественный журнал» стремится преодолеть инерцию истории и поразмышлять о возможном и желаемом будущем художественных институций, а Stasis продолжает поиски обновленного понимания природы эпохи антропоцена и спекуляций, оставив позади сциентистские и обыденные концепции природы.

ВСЕ НАСТОЯЩЕЕ РАСТВОРАЕТСЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ В ИСТОРИОГРАФИИ

«Логос» (2021. № 4) обращается к современным теориям истории. В начале XXI века в них произошел *темпоральный поворот*, вставший в один ряд с предшествующими поворотами в гуманитарном мышлении – лингвистическим, практическим, пространственным. Этот поворот предполагает изучение самого исторического времени и его устройства в дополнение к традиционному исследованию того, что существует во времени. В частности, рефлексии подвергается различие между прошлым и настоящим и их генеалогия, множественность или многослойность времени настоящего и его разнонаправленность (с. 7–8). Словом, речь о переосмыслении настоящего:

«Настоящее, которое объясняет нынешнюю привязанность к прошлому и неуверенность в будущем. Настоящее, которое настолько асинхронно и не равно самому себе, что может расслаиваться на множество несовременных друг другу темпоральных порядков. Настоящее, которое почти не имеет длительности, но зато чревато катастрофичностью, разрывающей человеческую жизнь на времена “до” и “после”. Именно такое неустойчивое, контингентное настоящее, создающее непредвиден-

ные риски и открывающее невиданные возможности, осознается сегодня как подлинный источник исторических перемен, которые все труднее представлять в терминах поступательного и целенаправленного движения. Оно побуждает продумать для него какой-то новый “режим историчности”» (с. 1).



Поэтому в центре внимания участников номера находится судьба историзма и его центрального тезиса о *несовместимости* настоящего и прошлого. Из этого внимания к настоящему и его неоднородности вытекает одна из важных ставок новых теорий: смещение акцента с методологического и эпистемологического аспектов на политический и этический. История должна вмешиваться в общественные дискуссии и политическую борьбу, так как историк не является пассивным регистратором событий прошлого – историческое познание производит свой предмет. В этой «реполитизации», по выражению Мишеля де Серто, и состоит главный смысл обсуждаемого сдвига (с. 10–11). Подробнее об этой идее и ее ипостасях читатель узнает из статьи Андрея Олейникова – редактора-составителя номера.

Первый модус реполитизации – *презентизм*, то есть проблема неопределен-

ности границ между прошлым и настоящим. Негативный взгляд видит в нем кризис чувства истории: зависимость историка от настоящего и неспособность увидеть в прошлом «другой мир». Позитивный взгляд, напротив, видит в презентизме возможность обратить внимание на механизмы синхронизации разнородных темпоральностей, которые создают впечатление о самоотжественности настоящего и утверждают его превосходство над прошлым. Это позволяет релятивизировать условия различия прошлого и настоящего, то есть денатурализовать эту границу как их несовместимость, показать ее сконструированность.

Такую позицию в дискуссии занимает, например, Крис Лоренц. Критикуя концепцию презентизма Франсуа Артога за противоречивость (внутри нее два презентизма: как период и как аналитическая категория, плюрализирующая понятие времени), он предлагает компенсировать ее недостатки идеей *хроноференции*, предложенной Ахимом Ландвером. Необходимо окончательно отказаться от линейного и прогрессистского *модерного* понимания истории как последовательности периодов и мыслить границу между настоящим и прошлым как *ситуационную*, но не онтологическую, а свойства времени – аналогичными свойствами пространства.

«Это означает, что можно говорить лишь о прошлых и будущих, которые существуют относительно настоящего и являются его конструктами. [...] Поэтому невозможно однозначно расположить людей, события и процессы в одном “слое времени”. [...] И Иисус, и Элвис, и Гитлер, как правило, хронологически размещены в прошлом, но, коль скоро живущие люди каким-то образом отсылают к ним, они должны быть одновременно размещены в настоящем и будущем. Тот же аргумент действителен и для надындивидуальных процессов, таких как “глобализация”, “глобальное потепление”, “загрязнение окружающей среды”

и “долговой кризис”: они одновременно отсылают к связанным феноменам прошлого, настоящего и будущего. [...] Прошлое нельзя больше понимать как онтологический объект, который модернистские историки реконструируют, находясь на закрепленной позиции наблюдателя, потому что различия прошлого-настоящего-будущего создаются по-разному в разных “темпоральных ландшафтах»» (с. 56–57).

Эта фундаментальная мультитемпоральность исторических феноменов осмыслиется и другими авторами номера. Так, Бербер Бевенарж акцентирует внимание на несамотжественности настоящего и необходимости понимать его в *проективном*, а не в субстанциональном ключе. Он отталкивается от анализа «прошедшего прошлого» и показывает, что ее следует понимать как реляционное понятие, зависящее от восприятия настоящего. Последнее же проблематично и не является продуктом простого эмпирического наблюдения (с. 75).

В свою очередь Хельге Йордхайм развивает идею множественной темпоральности, опираясь на интуиции Райнхарта Козеллека и Кшиштофа Помяна. Это позволяет ему снять жесткое разграничение социального и природного времени за счет введения пространства темпоральных шкал:

«На сцену возвращаются и другие хронологии – био-, гео- и космохронологии, способные подчинить человека масштабам, ритмам и длительностям природы. Не той природы, что существует сама по себе, но той, что конструировалась на протяжении последних трехсот лет учеными и исследователями» (с. 114).

Одной из проблем множественности времени, укорененной в множественности человеческих сообществ, является урегулирование конфликтов темпоральностей. Оно возможно либо путем признания радикальных разрывов во времени, либо через насильственную синхронизацию разнородных темпоральных практик (с. 121).



Последнему варианту посвящена статья Федора Николаи. Он показывает распад границы между прошлым и настоящим, а также несовременность настоящего самому себе на материале работ Мэри Калдор, посвященных явлению «новой войны», а также локальных конфликтов с участием России и западных стран. В них происходит размывание границы между военным и мирным временем, между обыденным и экстраординарным насилием.

Второй модус реполитизации истории – *радикальный историзм*. Опорную версию этой концепции предложил Марк Бевер. В его концепции для радикального историзма характерно представление истории как ряда *контингентных* и *случайных* присвоений, модификаций и преобразований старого в новое. Вместо сверхисторических принципов – конфликты новых вызовов со старыми ценностями, которые ставят под сомнение их устоявшиеся интерпретации, а вместо *натурализации* исторический действительности – представление об историографии как об особом нарративе, взамен государства как квазиорганической сущности – тезис о государстве как исторически случайном, неустойчивом и дисперсном образовании.

«Достоинство такой концепции радикального историзма состоит в том, что она поощряет конструктивистский подход к осмыслению прошлого и создает почву для номиналистической онтологии истории, максимально свободной как от догматических предпосылок, так и от авторитета “неоспоримых фактов”. Контингентность исторических событий делается здесь непременным условием их познаваемости. При этом познаваемость отождествляется с их денатурализацией, достигаемой посредством критических высказываний, обнаруживающих их случайную природу» (с. 16–17).

В отношении настоящего задача такого историзма не легитимировать его, а напро-

тив – выявить в нем возможность другого настоящего, другого мышления, поведения, существования. Фуко называл это *работой свободы*, напоминает Олейников.

Ряд авторов номера, работая в разных контекстах, предлагают свои варианты радикального историзма. Например, Олейников развивает версию Бевира, делая акцент на темпоральной сложности.

«Представляется справедливым признавать за радикальный историзм такой темпоральный режим, который порывает с идеей онтологической несовместимости прошлого и настоящего и позволяет говорить о со-присутствии множества разновременных явлений в составе одного социально-исторического опыта» (с. 19).

Витторио Морфино обнаруживает в трудах Маркса, Грамши, Альтюссера и Блоха «подводное течение множественной темпоральности», подрывающее магистральную для них стадильную модель истории. Это позволяет установить связь между марксистской традицией и радикальным историзмом вкуче с идеей темпоральной множественности и переосмыслить эту традицию.

«Усилие, которое нужно предпринять, развивая традицию множественной темпоральности, состоит в том, чтобы помыслить саму непрерывность (основу стадильной и прогрессистской истории) в ее сложности и контингентности. Это значит помыслить непрерывность не как универсальную меру частного, но как одно частное среди других, где каждое время из специфического переплетения времен должно мыслиться внутри пространства эмансипаторного политического действия» (с. 166).

Но означает ли отказ эмансипаторной политики от линейной концепции истории и ее субъекта отказ от понятия *класса*? Во-все нет, однако необходим его пересмотр. Двигаясь параллельно Морфино, Анна Его-

рова переосмысляет понятие класса исходя из мультитемпоральности истории.

«Классовая борьба не является единственным конфликтным отношением, характерным для реально существующего капитализма. Расизм, национализм и гендерное неравенство, невыводимые из абстрактного описания производства, вместе с тем оказываются неотъемлемой частью исторически сложившейся социально-экономической системы» (с. 188–189).

Неизменным остается анатогонизм, теперь помноженный на разнообразие ситуаций угнетения; класс же становится скорее ситуационным образованием, привязанным к локальным точкам роста.

Интересно, что в европейской философии XX века критика и кризис проблематики субъекта и его аватар сопровождалась обращением к событию как способу переосмыслить время и даже отказаться от него. Однако если в философии это понятие стало одним из центральных, то в современных теориях, пересматривающих структуру времени, оно не выходит на первый план как фундирующее, однако подразумевается в трактовке времени как реляционного, а не геометрического явления. Это берется исправить Золтан Болдижар Симон. Он размышляет о трансформации исторического времени под влиянием техногенных катастроф и рисков и объявляет о наступлении событийной темпоральности.

ВСЕ РАЗНООБРАЗНОЕ ТОЖЕ РАСТВОРАЕТСЯ: НОРМА И ИСТОРИЯ

«*Ab Imperio*» посвятил 2021 год теме историзации разнообразия. Как отмечается в редакционном предисловии, «большая часть истории человечества прошла под знаком разнообразия». Даже если последнее не имело отдельного обозначения, оно осмыслялось и проблематизировалось, а когда специальное слово появилось (пред-

положительно в XIV веке), «его семантика широко варьировалась в зависимости от исторического контекста, в целом эволюционируя от подозрительного отношения в раннее Новое время к современному энтузиазму» (с. 18). Без обстоятельной исторической контекстуализации это понятие может иметь противоположные смыслы, поэтому годовой темой и была выбрана историзация разнообразия. Можно предположить, что горизонт этого интереса задается вопросом о том, *возможно ли недискриминирующее управление разнообразием*.

По мнению редакторов, есть четыре идеальных типа решения проблемы разнообразия: отсутствие проблематизации, разнообразие как нежелательное препятствие, социальная аномия, подвешивающая любую систему группности и позитивный подход к разнообразию (с. 18). Каждому из них будет посвящен отдельный номер, и тема первого (2021. № 1) – «Норма: разнообразие как привычный порядок вещей и жизненный опыт».

Одним из наиболее проблемных способов осмысления разнообразия является понятие расы. Оно вовсе не исчезло с развитием генетики, но, напротив, получило на основе научных выкладок существенное переопределение. Более того, допущение об устаревании и несовременности этого понятия, разделяемое многими исследователями, способствует под покровом этой не критичности его скрытому возвращению в теории культурного, социального и политического неравенства (с. 30). Обсуждение соответствующих вопросов читатель найдет в первой части номера, материалы которой приурочены к грядущему выходу шеститомной «Культурной истории расы» под редакцией Мариуса Турды. Здесь публикуется краткое введение Турды, представляющее контекст и особенности этого проекта, а также его беседа с Мариной Могильнер, выступившей редактором одного из томов.



Они обсуждают содержание публикации, подходы и методологические трудности работы авторов. В частности, много говорится о том, как понятие расы формировало и формирует саму исследовательскую оптику. Так, одной из острых проблем было постоянное усилие по преодолению европоцентризма и проекций европейского понимания расы на изучаемый материал. Другими словами, как «удостовериться, что то, о чем идет речь в конкретном случае, действительно является индигенной версией этого понятия, а не чем-то другим» (с. 44–45)?

Будучи культурным осмыслением соматических различий, оно менялось вместе с культурой – это распространенное мнение среди современных исследователей. При такой изменчивости относительно универсальным оказывается сам культурный механизм расоизации как *эссенциализации различий* (с. 42). В таком случае, подчеркивают Могильнер и Турда, вопрос в том, что именно подвергается такой эссенциализации.

Неоднозначность исторического бытования понятия расы иллюстрирует статья Марианны Смирновой-Сеславинской об интеграции цыган в Российской империи. Вопреки расхожему представлению о цыганах как об одной из самых расоизируемых групп и объекте расистских дискурсивных проекций при концептуализации инаковости цыган в данном случае не использовались существовавшие такие расовые концепции, как «инородцы». Это было обусловлено настойчивыми попытками имперской власти начиная с 1760-х превратить рома в оседлое население, чтобы контролировать его и взимать с него налоги (с. 53). По мнению автора, отказ в легальном статусе кочевника, то есть «инородца», отчасти объясняет, почему в Российской империи цыгане не подвергались систематической расовой дискриминации.

Коренные народы Севера, напротив, использовали этот статус, чтобы избежать по-

литической и экономической мобилизации, но тем самым подчеркивали свою расовую инаковость. Как показывает Игорь Стась, советские власти на первых порах под влиянием этнографов (только они обладали серьезным знанием местных народов, языков и культур) поддерживали и развивали эту политику. Этнографы, а вслед за ними и Комитет Севера, считали идеальной моделью «империи позитивной дискриминации», предполагавшую создание изолированных территорий для сохранения уникальных комплексов природы и культуры (народы Севера эссенциалистски рассматривались как неотделимая часть северной природы) (с. 100). Подразумевалась их «промысловая колонизация» (с. 97), то есть народы становились поставщиками сырья для заводов.

Однако этой «благожелательной» расоизации помешала индустриализация, которая сопровождалась культурной интервенцией и экономической эксплуатацией местных народов. Эти процессы, по мнению Госплана, требовали их социального и культурного «выравнивания» ради включения в промышленность. Если сначала это оформлялось как «компромисс между этнографическим эволюционизмом и классовым конструктивизмом» (с. 95), то в 1930-е власти перешли к концепции развития «туземного пролетариата» (с. 105, 110). Этнографический подход сменился технократическим. Стась реконструирует эту трансформацию «инородцев» в «коренных пролетариев». Она проходила под знаком нормализации (с. 124) и – на словах – вписывания в семью социалистических наций, однако фактически эти народы оставались слабо включенными в советскую промышленную культуру: властям, по мнению автора, не удалось справиться с этническим и социальным разнообразием Севера (с. 127).

Впрочем, этот декларативный конструктивизм не означает, что политика советской власти исключала дискриминацию или расизм – в статье Марии Кротовой разбира-

ется своего рода наследование расовой дискриминации. Когда в 1924 году в Маньчжурию на КВЖД прибыли советские технические специалисты и руководители, они переняли у своих предшественников пренебрежительное отношение к китайским сотрудникам и населению в целом. Впрочем, эта преемственность была отягощена искажениями, обусловленными неоднородностью китайской стороны (местная элита, коммунисты, собственно население), экономическими интересами советского временного персонала и переменами, произошедшими с местным населением вследствие колонизации. Поэтому язык расы по-разному использовался царскими специалистами и советскими «временщиками».

ИНСТИТУЦИИ, ОТЧУЖДЕННЫЕ И ЖЕЛАННЫЕ

В последнее время отечественные журналы обратились к переосмыслению роли и природы институтов. В прошлом году это был «Логос» (2020. № 6) об институтах в философии, в этом году – «Художественный журнал» (2021. № 117) с темой «Институты: продолженное будущее» занялся художественными институтами.

Одни авторы номера занимаются утопическим институциональным проектированием, другие – скорее критической диагностикой текущих условий и структурных особенностей среды, в которых появятся будущие институты. Однако объединяющей для многих из них темой стал факт *прекаризации* труда, который предположительно окажет определяющее влияние на форму будущих институций – как желаемых, так и тех, которых стоит страшиться.

Начать чтение стоит с беседы Ильи Будрайтскиса и Станислава Шурипы, а также статьи Александра Бикбова. В первой намечаются некоторые базовые оппозиции, полезные для понимания дальнейшего

обсуждения (например: институция – это сдерживающая индивидов инстанция на месте общества или же продукт общества); текст же Бикбова на материале истории США, Франции и СССР задает генеалогический контекст современных тенденций в функционировании культурных институций. Их исток – Вторая мировая война, ставшая триггером обновления институциональной сферы на новых основаниях (с. 21). Она обрушила прежние структуры и порядки, освободила пространство для эксперимента:

«Ускорение и производительность становятся капитальными целями и плановых научных реформ 1950-х, и архаизирующего поворота к артистической дерегуляции труда в 1990-е» (с. 20).



Итак, два важных процесса задают генеалогию институционального настоящего. Во-первых, шедший параллельно по обе стороны «железного занавеса» сдвиг к «эффективной культуре» и культуре эффективности в контексте экономической и технологической войны. Правительства начинают видеть в культуре – в частности, в науке как ее образцовой модели – условие экономического роста и оптимизации коллективного экономического поведения

(с. 15). В возникших в 1950–1960-е институциях сочетались оптимизм гуманистической понятного прогресса, дополненный задачей технократии и экономического роста, и этическое требование *автономии* культурных (научных) институций (с. 22–23). Последнее обусловило нынешнюю романтизацию этих институциональных форм.

Во-вторых, это институциональные эксперименты правительств неолиберальных реформаторов, развернувшиеся в 1990-е и перекроившие фундамент культурной сферы, заложенный в послевоенное время. Их ориентирами были гибкость, скорость и эффективность, а ключевыми инструментами – программируемый риск увольнения, система надбавок и в целом прекарнизация труда. Это перекраивание затронуло и искусство, и науку: в одном – засилье временных проектов и арт-резиденций, в другом – требование мгновенной рентабельности и длительная прекарность. Изменилась институционально культивируемая длительность: нормой стали одно-двухлетние циклы, что подорвало претензии работников и самих культурных полей на автономию. Господствующей моделью культуры становится искусство, а универсализация артистической прекарности предлагается реформаторами в качестве «главного способа исправить неэффективную человеческую природу» (с. 20).

Что касается культурных институций будущего, то возможной точкой роста для них Бикбов считает «консенсуальное понимание (и зачастую опыт) прекарности» (с. 24):

«Если революционное решение прекарности не опередит реформистское, то реформы, основанные на этом разрыве через 20 лет, имеют шанс оказаться патерналистскими, если не националистическими. То есть в России обновление институциональных моделей “сверху” может пройти по линии спасения “особой” местной культуры от ужасов глобального капитализма» (с. 25).

Одним из способов избежать этого, по Бикбову, является соединение критики прекарности с коллективной рефлексией политической уязвимости в российских условиях авторитарных соблазнов.

Бояна Кунст разделяет внимание Бикбова к критике прекарности как точке роста институций будущего, однако иначе понимает принцип этого роста. Общая прекарнизация управления превращает последнее в «процесс управления посредством непрерывной прекарнизации [...] через производство страха незащищенности» (с. 10). Проблема в том, что в этом страхе и под давлением непрерывного оценивания существуют и сами художественные институции, вынужденные все время защищаться, инициировать все новые проекты и эксперименты, доказывать свою прогрессивность (с. 11). Поэтому в сердцевине каждой из них находится «туманная субстанция воображения», «расплывчатая, образная, мечтательная» (с. 7). Они должны мыслить себя темпорально, как незавершающийся проект, в котором есть место работе воображения.

«Институцию следует воспринимать не как достижение, а как сложную ритмическую петлю между действиями как если бы и воображением того, чего еще нет» (с. 13).

Кунст предлагает творчески препятствовать закрытию институций, однако призыв свой формулирует почти на том же неолиберальном языке творчества, свободы, изобретательности и гибкости, которым оформляется производящая прекарность управление (с. 12). Ключевое отличие – требования открытости настоящего, инфраструктурной заботы и поддержки – едва ли что-то меняет, поскольку не выводит на выяснение границ изменения материальных условий возможности институтов. Действенные институциональные реформы не вызываются одной только «туманной субстанцией воображения» вкупе с заботой – как если бы институциональное

проектирование было пространством безусловного воплощения желания, а не насыщенной средой со множеством правил и ограничений.

Многие из участников дискуссии предлагают те или иные модели *желаемых* будущих институций, и, как правило, речь идет о малых институциях. Один из тезисов Будрайтскиса отчасти поясняет этот интерес к ним. Институциям большим, обремененным материальной инфраструктурой, взаимодействием с государством, публикой, бизнесом, миссией репрезентации современного искусства в целом, он противопоставляет малые:

«У такой институции, не связанной обязательствами по отношению к настоящему, [...] возникает возможность участия в общественной дискуссии и жизни именно с точки зрения привнесения того, что в ней отсутствует, того, что из нее самой не рождается, но что соответствует ее будущему» (с. 102).

Представленные проекты будущих институций схожи друг с другом. Например, идеям Кунст близка Наташа Петрешин-Башлез, которая вслед за Изабель Стенгерс предлагает *замедлить* научные и художественные институции в рамках противодействия капиталистическому присвоению (с. 82):

«[Это предполагает] радикальное открытие наших институциональных границ и демонстрации того, как они работают (или не работают), чтобы сделать наши организационные структуры “прощупываемыми”, слышимыми, восприимчивыми, мягкими, пористыми и, самое главное, деколонизированными и антипатриархальными» (с. 75).

Свои версии проектов предлагают группа авторов PPP и Маргарита Кулева. Каждый из участников PPP, представляя тот или иной регион, предлагает набросок желаемого будущего локальных художественных институций – в результате получается галерея будущих форм. Кулева в свою очередь приводит результаты этнографического исследования культурных институций в Москве и Санкт-Петербурге, в центре которого «неформализация» трудовых отношений (с. 89). Опираясь на полученные результаты, она предлагает проект институций (не)будущего как переходных открытых сред, в которых все являются исследователями, а работники пользуются значительной творческой свободой.

Во многих из этих проектов вызывает смущение то же свойство, что и в проекте Кунст: некоторые из их ключевых черт повторяют навязываемые неолиберальным управлением формы: ситуативность (читай проектность), открытость, пересобираемость, гибкость, мобильность, сетевой характер, нейтральность, выключенность из структурных противостояний, ориентация на преобразование отношений между людьми. Эта по меньшей мере поверхностная схожесть желанных форм будущего с неолиберальными принципами настоящего может быть не случайна. Розалинд Краусс напоминает, что, создавая утопическую альтернативу или компенсацию настоящему, отягощенному коммодификацией и индустриализацией искусства, мы создаем образ воображаемого пространства, которое неизбежно сформировано структурными особенностями этого настоящего (с. 42).

Возможный способ избежать такого воспроизведения неолиберальных форм – обратиться к идеям прошлого. Дэвид Грэбер и Ника Дубровская замечают, что многие современные художественные институции и их проекты, противостоящие художественному и государственному истеблишменту, по-разному повторяют то, что уже Александр Богданов начал реализовывать в Пролеткульте в 1917–1920 годах (с. 123–125). В частности, для сети советских домов культуры и местных музеев, сохранившихся и спустя сто лет, были характерны де-

313

централизация и локализация, демократизация искусства и его переориентация на конкретные нужды людей, существование за пределами логик признания и влияния. Возможно, переосмысление опыта Пролеткульта могло бы помочь построить институции на основаниях, отличающихся от форм настоящего. Однако для этого требуется рефлексия материальных условий возможности.

Розалинд Краусс гораздо более конкретна (и безжалостна) в своем видении будущего художественных институций и предвидит их дальнейшее погружение в рыночные отношения и формы. Из ряда наблюдаемых тенденций и событий она собирает образ *индустриализированного* музея, который с большой вероятностью является конечным пунктом их нынешнего развития. Коллекции и предметы искусства превратятся в «ресурсы» и будут включены в цепочки продаж, залогов и кредитования, эффективность и прибыль окончательно станут определяющими принципами, ради роста продаж будут наращиваться музейные (читай – торговые) площади и коллекции, частыми станут слияния и поглощения музеев.

«Такой индустриализованный музей будет иметь гораздо больше общего с предприятиями индустриализованного досуга – Диснейлендом, например, – а не со старым, доиндустриальным музеем. Таким образом, он начнет взаимодействовать с массовыми рынками, а не с рынками искусства, а также с симулякрным опытом, а не с эстетической непосредственностью» (с. 45).

До боли знакомо? Еще бы. Эта статья написана Краусс в 1990 году, о чем в публикации перевода почему-то не упомянуто, как это обычно делается (даже статус классического, «известного всем», текста не оправдывал бы этого умолчания). Вероятно, на фоне других материалов номера этот текст мог бы подчеркнуть нынешний

провал мышления о будущем: за тридцать лет мы потеряли способность содержательно говорить о нем и можем разве что искать возможные точки роста и контуры желанного. А невольная уловка осовременивания текста лишь подчеркивает: само собой сбывается худшее, а желанное требует для своего исполнения работы.

Предлагаемое Краусс видение пессимистично, так как в нем крайне мал зазор для свободы институции в условиях ее детерминированности. Такому зазору посвящена статья Бориса Гройса. Он предлагает переосмыслить художественные институции в горизонте исторического процесса. Музеи – одни из немногих инстанций, разделяющих взгляд «Angelus Novus» Вальтера Беньямина, которому открываются экстерналии прогресса и истории: их отброшенные и уничтоженные достижения, утраты и разрушения.

«Музейный белый куб – контейнер, наполненный пустотой. Эта пустота может во-брать в себя все возможные объекты, утратившие свой мир и ставшие лишь безмирными вещами, – весь мусор, все остатки исчезнувших цивилизаций» (с. 55).

Музейная система – особенно после ухода линейности из экспозиций и смены художественных стилей – демонстрирует это ничто, пустоту посреди цивилизации, ориентирующейся на достижение практических, материальных целей (что переключается с тезисом Будрайтскиса о малых институциях).

Однако если вернуться от ангелов к смертным, то вопрос о трансформациях художественных институтов тесно связан с базовым противоречием между материальными условиями художественного развития и идеологией искусства. Андреа Фрейзер, продолжая линию Краусс в этой дискуссии, обращается к противоречию между зависимостью мира современного искусства от *финансовой* сферы и распрост-

раненными в нем критико-политическими дискурсами борьбы за социальную справедливость. Все больше художников, критиков и кураторов включаются в борьбу за социальную справедливость, причем часто в рамках организаций, финансируемых корпоративными спонсорами и частным капиталом, которые способствуют росту социальной несправедливости.

Это противоречие вписано в самую проблематичную, по мнению Фрейзер, институцию – *художественный дискурс*. Он остается главным барьером между «жизнью» и «искусством», отделяя эстетические и эпистемические формы от экономико-социальных: притязания на критику сочетаются с пренебрежением к реальности условий художественного процесса (с. 63–65). Он будто говорит о мире, чтобы не говорить о нем: вслед за Бурдье Фрейзер считает, что художественному дискурсу присуще психоаналитическое *отрицание* социального и его детерминаций, экономической необходимости (с. 65). Оно действует примитивно:

«Основным объектом этой защиты могут быть конфликты, связанные с экономическими условиями существования искусства, и наш вклад в экономическое господство и распространение нищеты – того, что олицетворяет огромные богатства, репрезентацией которых мир искусства по сути является» (с. 67).

В результате художественный дискурс колеблется между цинизмом и критической позицией, между элитизмом и популизмом, между эстетизмом и утопизмом.

Выход из этой ситуации, по Фрейзер, связан не с тем, что делается в искусстве, а с тем, что *говорится* о том, что делается. Нужна практически психоаналитическая работа с этим отрицанием (не осуждать его, а работать с силами подавления) внутри художественного дискурса, а вовсе не очевидное, но трансформативное художест-

венное новшество. В гегелевском духе Фрейзер заключает:

«Хотя трансформация художественного дискурса, конечно, не разрешила бы ни одного из заметных конфликтов в общественной жизни или даже внутри нас самих, она могла бы по крайней мере позволить нам выстроить с ними более честное и эффективное взаимодействие» (с. 72).

Дискуссия в «Художественном журнале» едва ли обнадеживает: туманно не только будущее институций, но даже основания желаний, инвестируемого в его обсуждение. Однако есть и один или два упущенных момента. Почти все авторы понимают институцию как то, что собирает в себе и упорядочивает усилия индивидов, существуя по какой-то своей автономной логике. Но не обсуждается содержательная связь между самим искусством и формой институций: кто-то, как Фрейзер, прямо говорит, что будущее институций не зависит от художественных новшеств. Но одновременно форма большинства обсуждаемых институций эксплицитно как будто не зависит от общества, не является его продуктом (Краусс не в счет). Это второе, по Будрайтскому, понимание институции, и оно остается за кадром. Возможно, ориентация на него даст дополнительный импульс поискам и проектированию форм будущих институций.

В ПОИСКАХ ПРИРОДЫ

В новом номере «*Stasis*» (2021. № 1) продолжает исследовать проблематику на пересечении природы, политики и науки. На этот раз теоретические разработки сочетаются с концептуально насыщенным анализом кейсов. Последние особенно интересны.

Например, Аманда Боэтцес обращается к популярной парадигме некрополитики,



чтобы размышлять о распространившейся в период пандемии COVID-19 визуализации забоя скота. Ее внимание привлекла нечувствительность публики к жестокости этого образа и самого явления. Здесь, по ее мнению, работает экономическая логика, посредством которой человечество обеспечивает себе статус высшего суверенного вида (с. 21–22). В таком случае экономия образа делает зрителя нечувствительным к его жестокости: произвольность «банального насилия» представляется необходимой (с. 27). Опираясь на экологические исследования разрушения лесных экологий, Бозтцкес обнаруживает за этим образом экономику планетарной растраты, триггером которой является капитал.

Планетарный масштаб – неизбежный атрибут обсуждения экологических проблем, ведь они почти никогда не изолированы в одном месте. Джефф Диаманти обращает внимание, что изменение климата является процессом терраформирования в реальном времени и без очевидного субъекта. Последнее обстоятельство вкупе с важными для экологических дискурсов понятиями – петли обратной связи и точки невозврата (*tipping point*), переосмысленными с помощью философии Гегеля, – позволяют автору заявлять о возможном возвращении *философии стихий* (с. 35).

Еще один кейс – занимательный синтез истории науки и экономики. Ольга Кириллова продолжает начатую Диаманти разработку оптики стихий и обращается к «культурной экономике огня» – в частности, химическому понятию *флогистона*, которое в XVIII–XIX веках было частью ее нарратива, – и теориям горения. Дело в том, что химия того периода была «камералистской» наукой на службе металлургии (с. 62) и встраивалась в процессы антропоцена. «Флогистон и капитализм диалектически взаимосвязаны» (с. 74).

Теории горения в естественной науке на каждом этапе культурно-общественного

развития взаимосвязаны с соответствующими «пирополитиками» – политиками огня, организующими и нивелирующими геополитическое пространство, а также с экономическими моделями. Это позволяет выделить специфические аспекты «экономики огня» в каждой культуре, и флогистон продолжает играть в эволюции культуры важную роль инструментального аналитического понятия даже после его опровержения в химической теории (с. 56). Кириллова разбирает перипетии превращения его смысла и функций вплоть до «цифрового флогистона» (с. 83). Особенно в этой истории интересна судьба флогистона после того, как он перестал быть рабочим объектом науки и стал метафорой в экономических размышлениях (например у Маркса и Энгельса: с. 69–71) и даже был отождествлен с прибавочной стоимостью (с. 72, 79). Кроме того, Кириллова связывает с флогистикой особые надежды:

«Условная “новая флогистика” в геофилософии могла бы возникнуть из представления о флогистоне как “огненной материи” – согласно Бехеру и некоторым другим флогистикам (в противовес другим представлениям о флогистоне как о лишенной веса абстракции) – и позволить движение в сторону “пирополитического материализма” с учетом новых теорий горения (окисление, дефлаграция, детонация и др.), коль скоро пирополитике суждено отменить геополитику» (с. 84).

Также в номере есть большой блок материалов, авторы которых разрабатывают постантропоцентрические философии природы. Так, Нильс Вильде Лангбалле развивает версию объектно-ориентированной философии природы, реинтерпретируя датского поэта-романтика Ингера Кристенсена. Язык и реальность предстают не как стороны означивания, то есть отношения между человеком и миром, а как аспекты природы. Новые сущности, силы и события на онтологической плоскости оказываются

продуктами становления, двигателем которого является «состояние тайны» (с. 93).

Стоит отметить, что одна из «родовых» проблем онтологий с нечеловеческим участием – непроясненные отношения с политическим мышлением. Дмитрий Лебедев разбирает ее на материале политической онтологии Уильяма Коннолли. В свою очередь Бронислав Сзержинский предпринимает попытку перестроить объектно-ориентированную онтологию, заменив объекты на протяженные субстанции и непрерывную материю и оперевшись на научное понимание реальности (лингвистика, психология, антропология и интеллектуальная история). Он выписывает условия восприятия мира как мира субстанций и необходимый для этого язык. Отличительными чертами понятий такого языка являются имманентность, инклюзивность, постепенность и генеративность.

Жюли Реше развивает другой тип реализма – психоаналитически инспириро-

ванный *депрессивный реализм*. Он предполагает, что «столкновение с реальностью сопряжено с крушением иллюзий, что вызывает депрессию» (с. 136). Реше обращает внимание на то, что влечение к смерти, будучи изначально антропоцентричным понятием, нуждается в освобождении от этой рамки. Недавние открытия в эволюционной биологии и психоаналитической мысли указывают на то, что оно, вероятно, присуще не исключительно человеку. Природа как таковая является воплощением влечения к смерти (с. 154–155).

Отечественные интеллектуальные журналы, конечно, тоже являются пирополитическими воплощениями влечения к смерти – они гарантированно сжигают время нашей жизни. Но разве это не тот огонь, на котором еще держится сопротивление всем тем натурализирующим тенденциям, что спешат сковать нас и лишить возможности мыслить *другое* настоящее и бороться за *разделяемое* будущее?

